

Бабы

В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозвищу Дюдя, а в верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и мёдом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке.

Старший сын его Фёдор служит на заводе в старших механиках и, как говорят про него мужики, далеко в гору пошел, так что до него теперь рукой не достанешь; жена Фёдора Софья, некрасивая и болезненная баба, живет дома при свёкре, всё плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться.

Второй сын Дюди, горбатенький Алёшка, живет дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи; это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постилала непременно Варвара.

В один июньский вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое: мужчина лет тридцати в парусиновом костюме, рядом с ним мальчик, лет семи-восьми, в длинном черном сюртуке с большими костяными пуговицами, и молодой парень в красной рубахе за кучера.

Парень распряг лошадей и повел их на улицу прохаживать, а проезжий умылся, помолился на церковь, потом разостлал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать; ел он не спеша, степенно, и Дюдя, выдавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену.

Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке, без шапки и ждал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории, и любил это. Его старуха Афанасьевна и невестка Софья доили под навесом коров; другая невестка, Варвара, сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухи.

Мальчишка этот твой сынок будет, стало? спросил Дюдя у проезжего.

Нет, приемышек, сиротка. Взял его к себе за спасение души.

Разговорились. Проезжий оказался человеком словоохотливым и красноречивым, и Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города,

домовладелец, что зовут его Матвеем Саввичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев-колонистов, и что мальчика зовут Кузькой. Вечер был жаркий и душный, спать никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Саввич стал рассказывать, откуда у него взялся Кузька. Афанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошел к воротам.

Это, дедушка, история подробная до чрезвычайности, начал Матвей Саввич, и если тебе рассказать всё, как было, то и ночи не хватит. Лет десять назад, на нашей улице, как раз рядом со мной в домике, где теперь свечной завод и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было два сына: один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей, пар пять, и посылал по городу ломовых извозчиков; вдова этого дела не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, так что в иные дни чистого рублей пять выезжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистых разводил и продавал охотникам; всё, бывало, стоит на крыше, веник вверх швыряет и свистит, а турманы под самыми небесами, а ему всё мало и еще выше хочется. Чижей и скворцов ловил, клетки мастерил... Пустое дело, а гляди по пустякам в месяц рублей десять набежит. Ну-с, по прошествии времени, у старушки отнялись ноги, и слегла она в постель. По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это всё равно, что человек без глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчас сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошел наш Вася невест глядеть. Засватал он у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думая, благословили и в одну неделю всё дело оборудовали. Девочка молодая, лет семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицом белая и приятная, со всеми качествами, как барышня; и приданое ничего себе: деньгами рублей пятьсот, коровенка, постель... А старуха, чуяло ее сердце, на третий же день после свадьбы отправилась в горний Иерусалим, идеже несть ни болезней, ни воздыханий. Молодые помянули и зажили. Прожили они с полгодика великолепным образом, и вдруг новое горе. Пришла беда, отворяй ворота: потребовали Васю в присутствии жребий вынимать. Взяли его, сердягу, в солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в Царство Польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался ничего, а как взглянул последний раз на сенник с голубями, залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать; та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился, и поехала в Обоянь к другой дочке, тоже замужней, и осталась Машенька одна с ребеночком. Пять ломовых мужиков, народ всё пьяный, озорной; лошади, дроги, там, гляди, забор обвалился или в трубе сажа загорелась не женского

ума дело, и стала она по соседству ко мне за каждым пустяком обращаться. Ну, придешь распорядишься, посоветуешь... Известное дело, не без того, зайдешь в дом, чаю выпьешь, поговоришь. Человек я был молодой, умственный, любил поговорить о всяких предметах, она тоже была образованная и вежливая. Одевалась чистенько и летом с зонтиком ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчет политики, а ей лестно, она меня чаем и вареньем... Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно. И всё придумываю, за чем бы к ней сходить. Вам, говорю, пора зимние рамы вставлять, и целый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить. Надо бы голубей Васиных сосчитать, не пропали бы которые, и всё так. Всё, бывало, с ней через забор разговариваю и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвдила. Вместо того, чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно и что всё она около забора похаживает и в щелки в мой двор смотрит. Завертелись в моей голове мозги от фантазии. В четверг на Святой неделе иду рано утром, чуть свет, на базар, прохожу мимо ее ворот, а нечистый тут как тут; поглядел я у нее калитка с этакой решёткой наверху, а она стоит среди двора уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался и окликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решётку. Личико белое, глазки ласковые, заспанные... Очень она мне понравилась, и стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах, а она покраснела, смеется и всё смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства... Она отперла калитку,пустила, и с того утра стали мы жить, как муж и жена.

С улицы во двор вошел горбатенький Алёшка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом; через минуту он выбежал из дома с гармоникой и, звеня в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами.

А это кто у вас? спросил Матвей Саввич.

Сын Алексей, ответил Дюдя. Гулять пошел, подлец. Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем.

И всё он гуляет с ребятами, и всё гуляет, вздохнула Афанасьевна. Перед масленой женили его, думали как лучше, а он, поди, еще хуже стал.

Без пользы. Только чужую девку осчастливили задаром, сказал Дюдя.

Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было

разобрать слов и слышались одни только голоса: два тенора и бас. Оттого, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо... Два голоса вдруг оборвали песню раскатистым смехом, а третий, тенор, продолжал петь и взял такую высокую ноту, что все невольно посмотрели вверх, как будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь.

Это поповичи с учителем, сказала она.

Опять все три голоса запели вместе. Матвей Саввич вздохнул и продолжал: Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку.

Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за меня уж хорошую невесту сватали, и не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не было. Письмо мне руки развязало.

Прочитали мы его с Машенькой, она побелела, как снег, а я и говорю: Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена. А она мне: Не стану я с ним жить. Да ведь он тебе муж? говорю. Легко ли... Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела. Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты скажи: венчалась ты с ним в церкви или нет? Венчалась, говорит, но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди смеются... Я без внимания... Ты, говорю, богомольная и читала писание, что там написано? За мужа выдана, с мужем и жить должна, сказал Дюдя.

Жена и муж едина плоть. Погрешили, говорю, мы с тобой и будет, надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей, он человек смирный, робкий не убьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать. Не слушает баба, уперлась на своем и хоть ты что! Тебя люблю и больше ничего. Приехал Вася в субботу под самую Троицу, рано утром. Мне в забор всё было видно: вбежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой на руках, и смеется и плачет, Кузьку целует, а сам на сенник смотрит и Кузьку бросать жалко и к голубям хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной, я и думаю: завтра Троица, что же они ворот и забора зелениями не убирают? Дело, думаю, неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный, слезы по щекам текут и руки трясутся; вынимает он из узла баранки, монисты, пряники и всякие гостинцы и расшвыривает по полу. Кузька тогда ему три годочка было ползает около и пряники жует, а Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет: Я тебе не жена, не хочу с тобой жить и всякие глупости. Поклонился я Васе в ноги и говорю: Виноваты мы перед тобой, Василий Максимыч, прости Христа ради!

Потом встал и говорю Машеньке такие слова: Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимычу ноги мыть и юшку пить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь богу, чтоб он, говорю, милосердный, простил мне мое согрешение. Как будто мне было внушение от ангела небесного, прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Этак дня через два приходит ко мне Вася. Я, говорит, прощаю, Матюша, и тебя, и жену, бог с вами. Она солдатка, дело женское, молодое, трудно себя соблюсти. Не она первая, не она последняя. А только, говорит, я прошу тебя жить так, как будто между вами ничего не было, и виду не показывай, а я, говорит, буду стараться ей угождать во всем, чтобы она меня опять полюбила. Руку мне подал, чайку попил и ушел веселый. Ну, думаю, слава богу, и весело мне стало, что всё так хорошо вышло. Но только что Вася из двора, как пришла Машенька. Чистое наказание! Вешается на шею, плачет и молит: Ради бога не бросай, жить без тебя не могу.

Эка подлая! вздохнул Дюдя.

Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее в сени и дверь на крючок запер. Иди, кричу, к мужу! Не срами меня перед людьми, бога бойся! И каждый день такая история. Раз утром стою я у себя на дворе около конюшни и починаю уздечку. Вдруг, смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая, в одной юбке, и прямо ко мне; ухватила руками за уздечку, вся опачкалась в смоле, трясется, плачет... Не могу жить с постылым; сил моих нет! Если не любишь, то лучше убей. Я осерчал и ударил ее раза два уздечкой, а в это время вбегают в калитку Вася и кричит отчаянным голосом: Не бей! не бей! А сам подбежал и, словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потом повалил на землю и ну топтать ногами; я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами. Бьет и всё, как жеребенок, повизгивает: ги-ги-ги!

Взять вожжи, да тебя бы так... проворчала Варвара, отходя. Извели нашу сестру, проклятые...

Замолчи, ты! крикнул на нее Дюдя. Кобыла!

Ги-ги-ги! продолжал Матвей Саввич. Из его двора прибежал извозчик, кликнул я своего работника, и все втроем отняли у него Машеньку и повели под ручки домой. Срамота! Того же дня вечером пошел я проведать. Она лежит в постели, вся закутанная, в примочках, только одни глаза и нос видать, и глядит в потолок. Я говорю: Здравствуйте, Марья Семеновна! Молчит. А Вася сидит в другой комнате, держится за голову и плачет: Злодей я! Погубил я свою жизнь! Пошли мне, господи, смерть! Я посидел с полчаса около Машеньки и прочитал ей наставление. Постращал. Праведные, говорю, на том свете пойдут в рай, а ты в геенну огненную, заодно со всеми блудницами... Не противься мужу, иди ему в ноги поклонись. А она ни словечка, даже глазом не

моргнула, словно я столбу говорю. На другой день Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, слышу, помер. Похоронили. Машенька на кладбище не была, не хотела людям свое бесстыжее лицо и синяки показывать. И вскорости пошли по мещанству разговоры, что Вася помер не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него в животе мышьяк. Дело было ясное, как пить дать; пришла полиция и забрала Машеньку, а с ней и Кузьму-бессребреника. Посадили в острог. Допрыгалась баба, наказал бог... Месяцев через восемь судили. Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халатике, а сама худенькая, бледная, остроглазая, смотреть жалко. Позади солдат с ружьем. Не признавалась. Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял всё по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, с характером была... Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение: сослать ее в каторгу в Сибирь на 13 лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: Уйди! Уйди! И Кузьку к себе прижимает, словно боится, чтоб я не отнял. Вот, говорю, до чего ты дожила! Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я учил тебя уму, вот и плачешься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. Я ей читаю наставление, а она: Уйди! Уйди! и жметесь с Кузькой к стене и дрожит. Когда ее от нас в губернию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей в узел рублишку за спасение души. Но не дошла она до Сибири... В губернии заболела горячкой и померла в остроге.

Собаке собачья и смерть, сказал Дюдя.

Кузьку вернули назад домой... Я подумал, подумал и взял его к себе. Что ж?

Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко.

Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу.

Теперь, как еду куда, беру его с собой: пускай приучается.

Пока Матвей Саввич рассказывал, Кузька всё время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках походил он на пенек.

Кузька, иди спать! крикнул ему Матвей Саввич.

Да, уж время, сказал Дюдя, поднимаясь; он громко зевнул и добавил: Норовят всё своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему.

Над двором на небе плыла уже луна; она быстро бежала в одну сторону, а облака под нею в другую; облака уходили дальше, а она всё была видна над двором. Матвей Саввич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся

сюртучком; чтобы удобнее было, и он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его касались коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся.

Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку.

Спит сиротка, сказала старуха. Худенький, тощенький, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому.

Мой Гришутка, должно, годочка на два старше, сказала Софья. На заводе в неволе живет, без матери. Хозяин бьет, небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута в молчании.

Чай, не помнит матери, сказала старуха.

Где помнить!

И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.

Калачиком свернулся... сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. Сиротка моя бедная.

Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо, рядом с ним другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной, и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.

Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка; должно быть, это Алёшка играл на своей гармонике. В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, саженьях в двух от ворот, показалась еще фигура; она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась.

Варвара, ты, что ли? спросила Софья.

А хоть бы и я.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села.

Ты где ходила? спросила Софья.

Варвара ничего не ответила.

Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя, сказала Софья. Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было.

А пускай.

Варвара засмеялась в платок и сказала шёпотом:

С поповичем сейчас гуляла.

Болтаешь.

Ей-богу.

Грех! шепнула Софья.

А пускай... Чего жалеть? Грех, так грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алёшкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алёшкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодезь головой...

Грех! опять шепнула Софья.

А пускай.

Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса: два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.

Полунощники... засмеялась Варвара.

И она стала рассказывать шёпотом, как она по ночам гуляет с поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива...

На погосте в старой церкви ударили полночь.

Пора спать, сказала Софья, вставая, а то как бы Дюдя не хватился.

Обе тихо пошли во двор.

Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал, сказала Варвара, постилая под окном.

Померла, говорит, в остроге. Мужа отравила.
Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо:
Я бы своего Алёшку извела и не пожалела.
Болтаешь, бог с тобой.
Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо:
Давай Дюдю и Алёшку изведем!
Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.
Люди узнают, сказала она.
Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алёшка, скажут, от пьянства издох.
Страшно... Бог убьет.
А пускай...
Обе не спали и молча думали.
Холодно, сказала Софья, начиная дрожать всем телом. Должно, утро скоро...
Ты спишь?
Нет... Ты меня не слушай, голубка, зашептала Варвара. Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается... Спи...
Обе замолчали, успокоились и скоро уснули.
Раньше всех проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обе пошли под навес доить коров. Пришел горбатенький Алёшка, совершенно пьяный, без гармоники; грудь и колени у него были в пыли и соломе должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходившего солнца ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна, и через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля, Матвей Саввич вскочил и засуетился .
Кузька, вставай! закричал он. Запрягать пора! Живо!
Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро... Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода, и пожимался от холода.
Тётка, крикнул Матвей Саввич Софье, тюкни моему парню, чтобы запрягать шел!
И Дюдя в это время кричал из окошка:
Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.
На улице взад и вперед бегали овцы и блеяли; бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым, сиплым басом. Во

двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.

Ты бы хоть овец выгнала! крикнула ей старуха. Барыня!

Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать, проворчала Варвара, уходя в дом.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел Дюдя со счетами в руках, сел на крылечке и стал считать, сколько приходится с проезжего за ночлег, за овёс и водопой.

Дорого, дедушка, за овёс кладешь, сказал Матвей Саввич.

Коли дорого, не бери. Мы, купец, не неволим.

Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

Куда же ты, свиненок, ее девал? крикнул сердито Матвей Саввич. Где она?

У Кузьки от ужаса перекосило лицо, он заметался около повозки и, не найдя тут, побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья.

Я тебе уши оборву! крикнул Матвей Саввич. Поганец этакий!

Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом стряхнул с нее сено, надел и робко, всё еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Саввич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.